ВНОВЬ НА РОДНОМ НЕБОСКЛОНЕ

СУДЬБА ПОЭТЕССЫ, ПРОЗАИКА, ДРАМАТУРГА МАРИИ ВЕГИ [ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПСЕВДОНИМ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ ЛАНГ] НЕПРОСТА, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОРОЙ РЕЗКО МЕНЯЛИ ПРИВЫЧНУЮ КОЛЕЮ ЕЕ ЖИЗНИ...
РОДИЛАСЬ ОНА В ПЕТЕРБУРГЕ, НА СТЫКЕ ДВУХ ВЕКОВ, В АРТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬЕ. ЕЕ БАБУШКА, А. БРОШЕЛЬ, — АКТРИСА АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА, СЕСТРА БАБУШКИ, М. БРОШЕЛЬ, — БАЛЕРИНА МАРИИНКИ И БЛИЗКИЙ ДРУГ ЛЕГЕНДАРНОЙ М. САВИНОЙ. В СЕМЬЕ РАССКАЗЫВАЛИ О ВСТРЕЧАХ С Л. ТОЛСТЫМ, И. ТУРГЕНЕВЫМ, А. АПУХТИНЫМ. ВОСПИТАННАЯ НА ТРАДИЦИЯХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ, МАРИЯ ВЕГА РАНО ОКУНУЛАСЬ В ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРУ. НО, ЕДВА СОПРИКОСНУВШИСЬ С РЕВОЛЮЦИЕЙ, В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ ОНА ОКАЗАЛАСЬ ЗА РУБЕЖОМ. МАРИЯ ВЕГА ЖИЛА ВО ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, УВИДЕЛА ПОЛМИРА, МНОГО ПОСТРАНСТВОВАЛА С МУЖЕМ, КАПИТАНОМ ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ. ЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХОРОШО ЗНАЛИ В РУССКИХ КРУГАХ ФРАНЦИИ, США, ФРГ. В ПАРИЖСКОМ РУССКОМ ТЕАТРЕ СТАВИЛИСЬ ЕЕ ПЬЕСЫ. ЧИТАЯ СТИХИ ВЕГИ, ОЩУЩАЕШЬ СЛОЖНОСТЬ ЕЕ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ, НАПРЯЖЕННОСТЬ ДУХОВНЫХ ИСКАНИЙ, РАЗНООБРАЗИЕ УВЛЕЧЕНИЙ, ГЛУБИНУ МЫСЛЕЙ. ВСЕ ЭТИ ГОДЫ ШЛА ОНА СВОИМ НЕЛЕГКИМ ПУТЕМ К ОБРЕТЕНИЮ УТРАЧЕННОЙ РОДИНЫ. НАКОНЕЦ В 1975 ГОДУ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ВЕРНУЛАСЬ В ЛЕНИНГРАД. РОДНОЙ ГОРОД, РОДНАЯ РЕКА, РОДНЫЕ ЛИЦА... ОНА ИСПЫТАЛА НАСТОЯЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ, РОЖДАЛИСЬ СТИХИ, НАПОЛНЕННЫЕ НОВЫМИ ЧУВСТВАМИ, НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ХОТЯ ЭТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЛО, ЧТО ЖИЛОСЬ ЕЙ ПРОСТО.
...Я ВИДЕЛСЯ С ВЕГОЙ ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ, В МАЕ 1978 ГОДА, В МОСКВЕ, В ГОСТИНИЦЕ «БУДАПЕШТ». ПЕРЕДО МНОЙ ПОЯВИЛАСЬ ЖЕНЩИНА, НЕСМОТРЯ НА СОЛИДНЫЙ ВОЗРАСТ СОХРАНИВШАЯ ВЫСОКУЮ СТАТНУЮ ФИГУРУ. РЕЧЬ ЕЕ БЫЛА СВОБОДНОЙ И ПРОСТОЙ, ПОРОЙ ЛУКАВОЙ И КОКЕТЛИВОЙ, НО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНОЙ, НЕБАНАЛЬНОЙ. ХОРОШИ БЫЛИ ЕЕ ВОСПОМИНАНИЯ О Г. ИВАНОВЕ, ПОЭТЕ ГЛУБОКИХ И ГОРЕСТНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ. УМНО И СВОЕОБРАЗНО ГОВОРИЛА ВЕГА ОБ И. А. БУНИНЕ, МНОГО ЛЕТ ТОСКОВАВШЕМ ПО РОССИИ. ЕЩЕ ДО ЭТОЙ ВСТРЕЧИ У НАС С МАРИЕЙ НИКОЛАЕВНОЙ НАЛАДИЛАСЬ ПЕРЕПИСКА. ВОТ НЕСКОЛЬКО ВЫДЕРЖЕК ИЗ ЕЕ ПИСЕМ 1976—1978 ГОДОВ, В КОТОРЫХ ОНА РАССКАЗЫВАЛА О БУНИНЕ.

В. НЕФЕДОВ

МИНСК

22 ОКТЯБРЯ — 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. БУНИНА

СТРОКИ О БУНИНЕ

Мария ВЕГА

...МНЕ хочется сказать Вам несколько слов об Иване Алексеевиче, которого я лично знала и который был весьма благосклонен к моей музе.

Русский зарубежный литературный мир его не любил, хотя и пресмыкался перед тем, кого прозвал «Иваном Великим», не смея критиковать его творчество, но нещадно критикуя как человека, и ничего ему не прощал. Ему льстили, считались с его мнением и отзывами, боялись, но соглашались во всем, и произнесенное им слово было неопровержимо: нельзя не хвалить, если хвалит Бунин. Нельзя не высмеивать, если высмеял он, хотя нередко случалось, что за его спиной «признанного» не признавали, а непризнанного превозносили не по заслугам. Это стало явным, нескрываемым после смерти «Великого».

Бунин был горд, надменен и одинок. Но ведь он был намного голов выше литературной братии и поэтому часто резок и беспощаден. В то же время он чутко отзывался на то, что считал настоящим, и ласково, и радостно относился к тем, в ком почувствовал это настоящее. Однако он не отказывался пообедать у того или иного писаки, про которого говорил со спокойным цинизмом: «Почему к нему не пойти? Стихи у него скверные, таланта ни на грош, а коньяк отличный». Про замечательного же и одобренного так же, с усмешкой, мог сказать: «А зачем я к нему пойду? Накормит дрянью, хотя пишет просто хорошо, молодец».

Лично я, никогда не искавшая ни встреч с ним, ни его покровительства, осталась к нему навсегда благодарной за отношение ко мне, начавшееся в тот незабываемый вечер, когда я публично читала (перед войной) свои стихи и прозу в зале парижской русской консерватории. Мне и в голову не приходило, что Иван Алексеевич удостоит меня своим посещением. В зале, кроме публики, собралось несколько товарищей поэтов, слушавших внимательно и дружелюбно, а несочувствующие, хотя и явились, но сидели в соседней комнате и некоторые даже развернули газеты. Мне хорошо их было видно с того места, где стоял мой столик. Я читала без всякого волнения, невольно сама увлекаясь, и все шло гладко, как вдруг в конце зала раскрылась дверь и вошел Бунин. Я подумала, что теперь мое дело плохо. Совсем недавно он разнес в пух и прах одного выступавшего поэта, не щадя его перед всей аудиторией.

Первое отделение — проза — уже подходило к концу, и проза была всего страшнее. После антракта я должна была читать стихи и тут уже могла быть спокойнее. Сев в первом ряду прямо против меня, Иван Алексеевич сначала оглядывался, кому-то кивал, кому-то махал рукой, потом вдруг нагнулся вперед и стал слушать очень внимательно. Я читала небольшую повесть, которую не приняли в печать, находя ее «заумной». Когда я дочитала и приготовилась к худшему, Бунин громко сказал: «Молодец! Очень хорошо, не по-женски хорошо, по-настоящему. Поздравляю». Он встал, подошел ко мне и взял за обе руки. Конечно, все дружно зааплодировали, а «отдельная комната», как бы проснувшись, стала вливаться в зал. Несочувствующий лагерь вынимал из карманов записные книжки, что-то записывал и любезно меня поздравлял.

С этого дня случилось так, что Иван Алексеевич несколько раз у меня бывал, приехал на новогоднюю елку, особых коньяков не пил, ел простые пирожки, сам был прост, приятен, интересен и дружелюбен со всеми. Я помню, что в тот вечер были у меня писатель Леонид Зуров, преданный Бунину как оруженосец, и приехавшие вместе с ним поэты Михаил Струве и Георгий Евангулов, которых Иван Алексеевич снисходительно ценил. Он тогда подарил мне сборник своих стихов, надписав на нем: «Ее Сиятельству Веге». «Почему «сиятельству»?» — спросила я. «Потому что звезда сияет», — ответил он.

Дальше, при редких встречах, он всегда интересовался тем, что я пишу, говорил: «Слежу за вами». И никогда, никогда не было от него ко мне ни иронии, ни колкости, ни неприятного слова, даже если он что-нибудь считал не вполне удачным. В то же время одному хорошему уже немолодому поэту, известному еще в старой России и так называемому «приятелю», с которым был на ты, он не постеснялся сказать, прослушав его стихи и указывая на Евангулова и на меня: «Вот у этих учись писать, довольно ты нам надоел, воспевая каких-то не любивших тебя дам в вуалетках».

Во время войны Бунин уехал из захваченного фашистами Парижа в так называемую «свободную» (Петэновскую) зону, в городок Грасс, и я его больше никогда не встречала, уехав из Франции. Знаю, что он умер в полной нищете. Союз русских зарубежных писателей ничем ему не помогал, и этот конец его жизни беспощадно и унизительно описан Цвибаком (псевдоним Седых) в его книге, изданной, если не ошибаюсь, в Америке.

Я благодарна Бунину за то, что он как бы открыл мне меня, утвердил во мне сознание нужности того, что я делаю, помог упорно работать и быть к себе строгой. Отстраняя от себя все, что делало этого человека неотзывчивым, холодным к чужому горю, даже неприятие им современной России, я вижу и чувствую в нем большую, неослабевающую любовь к родной земле — любовь единственную, потому что он никого и ничего не любил. Будучи в то же время настолько тонким, чувствительным ко всему, чего касалось его творчество, доведенное до тончайшего мастерства, что это творчество будило в людях любовь к тому, что он говорил, хотя в сущности он был замечательным объективом драгоценного фотографического аппарата, одинаково схватывавшего красоту природы, психологию человека, дерево на дороге, слезы женщины, тающий снег, радость и так далее и передающего их с артистичностью высокочувствительной фотографической пленки. Один из лучших рассказов — о собаке Чанге, которую спаивал хозяин, — сделан так, что нельзя не поражаться любви Бунина к своему четырехногому герою, а ведь он собак терпеть не мог, отгонял от себя. Но, может быть, это было позой, соответствовало навсегда надетой брезгливой маске — зачем в этом разбираться? То, что он нам оставил, прекрасно, как прекрасна редко появлявшаяся из-под маски простая, хорошая улыбка...

Вручение И. А. БУНИНУ Нобелевской премии. Стокгольм. 1933 год.

Бунин умер в маске, но не умер в литературе, и важна не маска, а его искусство, за которое все ему прощается, хотя какое мы имеем право прощать или не прощать?

...Простите, что я так увлеклась личными маленькими воспоминаниями, которые вряд ли Вам интересны. Говорить об «Иване Великом» равнодушно я не могу и невольно увлекаюсь.

...Влияние Бунина на меня? Только, конечно, в творчестве. Помощь состоит в том, что он твердо советовал мне, даже, если хотите, — приказывал никого не слушать, смотреть внутрь себя и быть собственным судьей.

Я не люблю Бунина как поэта. Для меня он сух, как сух Сергей Маковский, они до сердца моего не доходят, а там жарко и глубоко живут Блок, Ахматова, Георгий Иванов — поэт упадочный, но до того передающий драму опустошенности и смертельной тоски, в такой точной музыке, что от него по спине проходит холодок, как от многих композиторов. Не ужасайтесь, если скажу, что для меня часто «как» важнее, чем «что».

Какой поэт не писал о грозе, о ночи, о снеге, о смерти и так далее? Но «как» писал?!

Адамович*, которого Вы упоминаете, любил говорить о магии слова, сам ею не обладая, хотя имел претензию что-то такое основать, что мелкие поэты, идущие за ним, называли «школой Адамовича». Но магия слова, которую я целиком признаю и которой очаровываюсь, не должна быть только звоном. Не знаю, кто сказал: «Как звонок двуконной конки, стих мой звонкий, ломкий, тонкий, звона много, смысла нет». Но тяжело, когда до того уж велик смысл, что спрашиваешь себя: а почему поэт все это умное не написал прозой? Было бы легче читать.

...Вообще же о процессе творческом я ровно ничего сказать не умею, вернее всего будет так: через меня что-то проходит, как в радиоаппарате, и я только передатчик этого «чего-то», а в правильности того, что делаю, поддержал меня хоть бы тот же Бунин...

* Георгий Викторович Адамович (1894—1972) — поэт и переводчик, один из крупнейших литературных критиков Русского Зарубежья.